
А.О. Смирнова-Россет

Воспоминания о Жуковском и Пушкине

<...> Василия Андреевича я увидела в первый раз в 1826 г. в Екатерининском институте, при выпуске нашего 9-го класса. Императрица Мария Федоровна делала наши экзамены с торжественностью, в своем присутствии и до публичного экзамена. На этот публичный экзамен собрались митрополиты, академики и литераторы. Учителем словесности был П.А. Плетнев, друг Пушкина, любимец императрицы Марии Федоровны, человек вполне достойный ее внимания и особой благосклонности. Экзамен, благодаря его трудам, мы сдали очень хорошо. Тут прочитаны были стихи Нелединскому и Жуковскому, их сочинения. Императрица Мария Федоровна оказывала обоим внимание и во все время экзамена или словами, или взглядами спрашивала их одобрения. После экзамена подан был завтрак (*dejeuner a la fourchette*), и так это было на маслянице, то оба поэта преусердно занялись блинами. Этот завтрак привозился придворными кухмистерами, и блины точно пекли на славу во дворце. Нас всех поразили добрые, задумчивые глаза Жуковского. Если б поэзия не поставила его уже на пьедестал, по наружности можно было взять его за добряка. Добряк он и был, но при этом сколько было глубины и возвышенности в нем. Оттого его положение в придворной стихии было самое трудное. Только в отношениях к царской фамилии ему было всегда хорошо.

Он их любил с горячностью, а императрицу Александру Федоровну с каким-то энтузиазмом, и был он им всегда предан душевно. Ему, так сказать, надобно было влезть в душу людей, с которыми он жил, чтобы быть любезным, непринужденным, одним словом, самим собою <...>.

По возвращении государя из Турции (14 октября 1828 г. с театра военных действий) и государыни из Одессы двор поселился в Зимнем дворце. Мария Федоровна скончалась, город был в трауре; все было тихо, и я, познакомившись с семейством Карамзиных, начала встречать у них Жуковского и с ним сблизилась. Стихи его на кончину императрицы были напечатаны и читались всеми теми, которые понимали по-русски. Жуковский жил тогда, как и до конца своего пребывания при дворе, в Шепелевском дворце (теперь Эрмитаж). Там, как известно, бывали у него литературно-дружеские вечера. С утра на этой лестнице толпились нищие, бедные и просители всякого рода и звания. Он не умел никому отказать, баловал своих просителей, не раз был обманут, но его щедрость и сердолобие никогда не истощались. Однажды он мне показывал свою записную книгу: в один год он роздал 18 000 рублей (ассигнациями), что составляло большую половину его средств.

Он говорил мне: «Я во дворце всем надоел моими просьбами и это понимаю, потому что и без меня много раздают великие князья, великие княгини и в особенности императрица; одного Александра Николаевича Голицына я не боюсь просить: этот даже радуется, когда его придешь просить; зато я в Царском всякое утро к нему таскаюсь». Один раз, после путешествия нынешнего государя, Жуковский явился ко мне с портфелем и говорит: «Посмотрите, какую штуку я выдумал! Я так надоел просьбами, что они, лишь как увидят меня, просто махают руками. Надобно 3 000 рублей ассигнациями, чтобы выкупить крепостного живописца у барина. Злодей, узнавши, что я интересуюсь его человеком, заломил вишь какую сумму. Вот что я придумал: всю историю представил в рисунках. Сидят Юлия Федоровна Баранова и великая княгиня Мария Николаевна, я рассказываю историю. Все говорят: «Это ужасно! Ах, бедный! Его надобно высвободить». Картина вторая: я показываю рисунки, восхищаются: «C'est charmant, quel

talent».¹ Картин этих было несколько, и, разместив всех, приложив своих денег, он собрал с царской фамилии деньги и послал их в Оренбург, где томился художник у невежды-барина, который не ценил его живописи.

Жуковский любил рассказывать про свою жизнь в деревне в Белевском уезде, про дурака Варлашку, который не умел обходиться с мужскою одеждою и ходил в фланелевой юбке; как Варлашка, уходя спать на чердак, с лестницы всякий вечер кричал «боюсь» и прочий вздор. Не знаю, всем ли известны пером нарисованные виды этой деревни, в которой он жил в молодости: необыкновенная прелесть в них! Они были после литографированы, и вся коллекция у меня. Один знаток англичанин мне говорил, что в этих линиях слышится необыкновенный художественный талант.

Шутки Жуковского были детские и всегда повторялись; он ими сам очень тешился. Одну зиму он назначил обедать у меня по средам и приезжал в сюртуке; но один раз случилось, что другие (например, дипломаты) были во фраках: и ему и нам становилось неловко. На следующую среду он пришел в сюртуке, а за ним человек нес развернутый фрак. «Вот я приехал во фраке, а теперь, братец Григорий, – сказал он человеку, – уложи его хорошенько». Эта шутка повторялась раза три, наконец и ему и мне надоела, но Жуковский говорил, что в передней она имела большой успех, и очень этим восхищался. Этому Григория он очень полюбил, когда я ему сказала, что он играет очень дурно на дрянной скрипке. «Как же это так, на дурной скрипке? Надобно бы ему дать хорошую». При совершенном неумении наживаться он хорошо распоряжался своими маленькими доходами и вел свои счета с немецкою аккуратностью. Вообще, в его чисто русской натуре было много германизма, мечтательности и того, что называют Gemutlichkeit.² Он любил расходиться, разболтаться и шутить в маленьком кружке знакомых самым невинным, почти детским манером. Комнаты его, в третьем этаже Шепелевского дворца, были просто, но хорошо убраны. «Только, – говорил он, – жаль, что мы так живем высоко, мы чердашничаем». У него были развешены картины и любимый ландшафт его работы Фридриха — еврейское кладбище в лунную ночь, которое не имеет особенного достоинства, но которым он восхищался. Как живопись, так и музыку он понимал в высшем значении; но любил так же эти искусства по какой-то ассоциации воспоминания. Так, однажды он мне писал: «Буду у вас обедать, а после обеда пусть m-lle Klebeck мне сплет:

Land meiner seligsten Gefuhle,
Land meiner Jugend³ и пр.

Не забудьте, что тут рядом сядет «Воспоминание».

Тот, кому так дорого было воспоминание, у которого память сердца так была сильна, мог написать эти прелестные стихи.

О милый гость, святое *прежде*,
Зачем в мою теснишься грудь!
Могу ль сказать живи надежде,
Скажу ль тому, что было: будь?

Лунная ночь с ее таинственностью и чарами приводила его в восторг. Отношения его к старым товарищам, к друзьям молодости никогда не изменялись. Не раз он подвергался неудовольствию государя за свою непоколебимую верность некоторым из них. Обыкновенно он шел прямо к императрице, с ней объяснялся и приходил в восторге сообщить, что «эта душа все понимает». «У государя, – говорил он, – первое чувство всегда прекрасно, потом его стараются со всех сторон испортить; однако, погорячившись,

¹ «Как прекрасно, какой талант» (фр.).

² уютности (нем.).

³ Страна моих святых чувств,
Страна моей молодости (нем.).

он принимает правду». Такой-то натуре пришлось провести столько лет в коридорах Зимнего дворца!

Но он был чист и светел душою и в этой атмосфере, ничего не утратив — ни таланта, ни душевных сокровищ. Эти сокровища, так щедро Богом дарованные, сбереженные в полной чистоте и святости, сделали его высшим духовным человеком, каким он был в последние годы своей жизни.